

Воспоминания об Академии

(1910—1915)

Продолжение. Начало в № 2 (5) и 3 (6) за 1997 г.



ПРОФЕССОРА

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ВВЕДЕНСКИЙ

3 сентября состоялась первая лекция. Читал Алексей Иванович Введенский, профессор Систематической философии и Логики. Как сейчас помню: в аудиторию вошел полный, высокого роста с сединой человек и остановился посредине аудитории, недалеко от кафедры. Дежурный студент прочитал молитву “Царю Небесный”. Алексей Иванович сделал поклон, взошел на кафедру, медленно опустился на стул, почмокал, как бы что говоря про себя, губами и начал свою неторопливую вступительную к курсу Систематической философии и Логики речь. Седеющая голова, важная медлительность, мягкий и уверенный тон сразу овладели нашим вниманием. С первых своих слов Алексей Иванович видел, что аудитория в его руках, что его слушают. Лекцию он читал на тему: “Пере-

лом в современном общественном сознании”. Правда, мы далеко не все были согласны и с положениями, им выдвинутыми, и тем более с сделанными им выводами, но с лекции мы ушли очарованными им. В Семинариях иной стиль преподавания. Там мы были юнцы-подростки, здесь — юноши, с которыми начали разговор по-взрослому. Да к тому же эта лекция была первой, и понятно, что мы на этой лекции сидели разиня рот. Со второй его лекции был начат курс Систематической философии.

Алексей Иванович — человек незаурядного ума и способностей, с большой эрудицией, пользовался в академической корпорации большим весом. Его голос в академическом совете едва ли был не решающим.

В академической философской науке Московской Академии царил немецкий философ Якоби. Ф.Л. Голубинский, В.Д. Кудрявцев и А.И. Введенский — все они на протяжении целого столетия развивали тео-

рию Якоби о познании: Якоби в противовес кантовской критической философии противопоставил философию веры или непосредственного чувства. В то время как Кант идеям разума (Бог, идея бессмертия души) придавал только практический интерес, Якоби утверждал, что как таковые они в этой постановке не могут иметь твердой достоверности, так как они суть продукт разума, а доказывающий их рассудок движется от условного к условному, а не к безусловному, и тем самым высшую идею разума ставил в рядок вещей условных. Высшая идея не может быть доказана путем демонстративным, мозговым. Для этого нужен специальный орган познания, каковым, по Якоби, является вера, непосредственное убеждение, глаз созерцания — сердце. Этот глаз и был центром всей философии Московской Академии.

Ф.Л. Голубинский, определяя философию как любовь к мудрости (а не мудрость), утверждал, что мудрость дается религией, верой, и все философское познание возводил к Богу, переплетая философию с богословием. Мир в Боге, и Бог во всех, кто ищет и кто любит Его. Отсюда и термин “любомудрие”, философия любви.

В.Д. Кудрявцев развил положение Ф.Л. Голубинского о том, что у нас есть особый орган познания Божества, и полагал этот орган в уме человека. Бог и разум, вера и мышление, философия и религия — “едины (суть) усты”. Созерцай и веруй, и спасен будешь. Такова немудрая философия второго нашего якобинца.

А.И. Введенский не выдвигал на первый план теории органа созерцания, но за его философией оценки, аксиологии, стоит также вера. Он явление рассматривал с точки зрения достойного, критерием чему может быть аспект религии... Он утверждал, что наша философия должна пойти по своему самобытному пути, христианскому. “Если немецкая, а потом и французская философия, — говорил Алексей Иванович, — определяются как философии личности, то наша, русская, философия будет развиваться как стремление к преобразованию жизни, в которой монизм должен получить преобладание над дуализмом. Философия и жизнь пойдут по пути соборности сознания. Интересы этой философии должны концентрироваться вокруг вопросов “ценности” личной и общественной морали в свете христианского учения и опыта.” Вот его философия, его аксиология.

И все-таки, несмотря на искренность своего философствования, Алексей Иванович не выдержал натиска навалившихся на него вопросов и проблем христианского монизма в его постановке и счел за лучшее для себя и своей аксиологии заняться публицистикой. Он начал сотрудничать с редакцией “Московских ведомостей”, а затем стал редактором журнала “Душеполезное чтение”. Редактирование газеты “Московские ведомости” (с 1898 г.) и руководство журналом “Душеполезное чтение” (1902–1907 гг.) поглотили

ли в нем и философа, и ученого. А.И. Введенский пропал и для богословия, и для философии.

К нам, студентам, Алексей Иванович относился с большой терпимостью, и когда студенту грозила какая-нибудь неприятность, он нередко заступался за “греховодника” как у ректора, так и в совете.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СПАССКИЙ

В этот же день, 3 сентября, четвертая и пятая лекции были заняты А.А. Спасским, профессором кафедры Истории древней Церкви. В противоположность А.И. Введенскому, Спасский производил обратное впечатление. Длинный, чрезвычайно худой, с козлиной бородкой и испитым лицом, он и ходил с трудом, и плохо выговаривал слова. Говорили, что у него был прогрессирующий паралич. Лекции он читал по тетрадке, растягивая слова и мямля. Слушая его, мы почти ничего не понимали, что он говорил. О каких-нибудь записях нечего было и думать. Даже дежурный студент, обязанный вести журнал занятий, не всегда мог записать то, о чем он читал. Конечно, студенты не ходили на его лекции. Анатолий Алексеевич видел, сознавал свое безвыходное положение и бесконечно страдал. Он болел. Его книги, статьи написаны великолепным языком, легко читаются и запоминаются. На меня особо сильное впечатление производила ясность его изложения и простота слога. Это он делал классически, а для этого, конечно, нужно было быть не только образованным и ученым, но и культурным человеком.

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОНЦОВ

Евгений Александрович был третьим профессором, которого пришлось слушать на первом курсе. Преподавал он еврейский язык. Вел он свои уроки внятно и просто. Иероглифы масорета сами лезли в голову и твердо оседали там “на постоянное жительство”. Буквы еврейского алфавита, обозначение гласных он преподносил нам в связи с историей происхождения и развития еврейского языка, останавливаясь на истории культуры еврейского народа. С.И. Соболевскому, профессору греческого, потребовалось повторить нам синтаксис преподаваемого им языка, и он прочел нам его за 3–4 лекции. Евгений Александрович только один алфавит еврейской письменности едва уложил в 10 лекций. Читал (говорил) он увлекательно, и я, не имевший ни расположения, ни любви к языкам вообще, слушал Евгения Александровича с большим удовольствием. На первых порах слушать его было трудно. Свою речь он “пересыпал” иностранными словами, обильно “оснащая” терминологией, присущей древним языкам, и потому процесс привыкания к его форме преподавания сопровождался большими для нас затруднениями.

Евгений Александрович знал и европейские языки, древние и древнейшие... Любимым его языком был еврейский, изучению которого он посвятил всю свою

жизнь. В язык и культуру древнего народа он, как говорят, ушел весь с головой, и сам сделался похожим на еврейского раввина.

Глубокий мистик и, как говорили, ясновидец, с кристально чистой душой, с постоянной улыбкой на лице, он был светел и ясен... Лысеющая голова, светлое, прозрачное лицо с большим лбом, окладистая с проседью борода, толстые губы — недоставало только еврейского акцента — и он был бы настоящим евреем, а он был только православным священником. Ходил он в круглой фетровой шляпе, с палкой. Почти ежедневно его могли видеть, обычно в послеобеденное время, тихо пробирающимся на монастырское кладбище к могилке своей матери, где он подолгу проводил свой отдых в молитвенном общении со своей родительницей.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ГЛАГОЛЕВ

Сергей Сергеевич читал нам курс Основного богословия. Остроумный, иногда насмешливый и язвительный, он умел заставить студентов слушать его речь. Его лекции студентами посещались, хотя они и не всегда блистали убедительностью. Мне казалось, что Сергей Сергеевич иногда сам плохо верил тому, что предлагал нам как непреложное. Он иллюстрировал свою речь смешной жестикующей и обильными гримасами. А предмет — Основное богословие, апология христианства, пролог к учению церковной догмы — требовал от преподавателя не только жестикующей, но и обоснования. В эрудиции ему отказать было нельзя, но и остротами с профессорской кафедры отделяться тоже не всегда было удобно. Этим своим приемом Сергей Сергеевич пользовался там, где его аргументация слабела, а это бывало всегда в случаях, когда у Сергея Сергеевича не хватало смелости признать свою слабость. Поэтому он редко касался острых вопросов, скажем, вопросов о происхождении христианства, а больше общих, философских.

С.С. Глаголев — единомышленник А.И. Введенского и влиятельный член академического совета. Оба — академические заправилы, по милости которых многим нашим “инакомыслящим” профессорам доставалось изрядно. На нас, студентов, их ортодоксализм сказывался меньше, но профессорам он иногда обходился дороговато. Профессора, особенно молодые, частенько снимали перед “маститыми” свои шляпы и почтительно уступали дорогу “старшим — ординарным”.

Последнее десятилетие своего профессорства Сергей Сергеевич увлекался Джемсом. Его увлекала идея целесообразности, которая роднила его с аксиологией Введенского и позволяла выбирать только “Достойное” с большой буквы. Субъективизм — это неотъемлемое свойство души, которое позволяет проникнуть в сущность вещей и явлений. Прагматические идеи Сергея Сергеевича с кафедры были для нас, юнцов, новы. Глаголева в прагматизме удовлетворяло то, что он там нашел обоснование целесообразности. Примирить науку и религию для Сергея Сергеевича было делом трудным, и он был тем более доволен,

что прагматизм давал ему возможность этого примирения с действительностью. Ведь не все же в мире плохо и есть порождение дьявола. Истину как полезность или, по Введенскому, “достойное” он не активизировал, а принимал ее и, с верой в душе в свою правоту, плыл по течению, уверяя, что и “пары Паскаля” могут заслуживать внимания.

НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ ТУНИЦКИЙ

Немногоглаголивый и, скорее, скупой на слова, Николай Леонидович давал нам материал в чрезвычайно сжатой и ясной форме. История церковно-славянского языка и Палеография укладывались им в такие формы и были так ясно представлены, что у нас, внимательно его слушающих, не возникало никаких вопросов. Туницкий не блистал речью, не светился, как Е.А. Воронцов. Николая Леонидовича считали восходящей звездой Академии. Его мы любили, он это знал и отвечал студентам тем же. Правда, любовь его к нам была молчаливая, но при порядках того времени, иначе поступать и нельзя было, тем более, что Николай Леонидович принадлежал к оппозиции в академическом совете. К нам был требователен и подчас казался суровым.

У меня в памяти осталось одно его замечание о моей письменной работе, мало его удовлетворившей. На практических занятиях Николай Леонидович разбирал наши семестровые сочинения. Обычно на одну тему писало несколько студентов. По собственному нашему выбору один из группы читал свою работу с кафедры, “докладывал”, а прочие должны были выступать оппонентами. В нашей группе мы договорились, что “докладывать” буду я. Когда я встал, чтобы взойти на кафедру, Туницкий, полагая почему-то, что прочтет свою работу, отмеченную баллом “5”, Голубцов, вдруг обращается ко мне и говорит: “Почему Вы?” Ему хотелось, чтобы читал Голубцов. А так как порядок “докладывания” был установлен им самим, то за “почему” последовало: “Ну, хорошо, читайте!” Это “почему” и до сих пор еще звучит в ушах как оценка моего прилежания и предупреждение.

ПРОЧИЕ ПЕРСОНАЖИ

Помощник инспектора

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ВЫСОЦКИЙ

Высоцкого мы не любили. Грубый, придиричивый, он вел себя, как настоящий “суб”. Карьеры в Академии он себе не делал, да и сделать не мог, способностями он не блистал, а к нам он не питал ни любви, ни уважения. Вся его фигура и манера обращаться со студентами как бы говорили: “Вот я вас!”

Я от него имел два замечания за ношение красной рубашки. Второе замечание — с предупреждением. Убрали его по корреспонденции, посвященной ему в газете “Колокол”. Корреспонденция, однако, была к нему несправедлива и обвиняла его в том, в чем он не был повинен, но его, к общему удовольствию студентов, убрали.

Эконом

ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ РЯШЕНЦЕВ

Не принимали мы и Л.С. Ряшенцева. Это вторая фигура, которую вообще студенты не любили. А не любили его за то, что он хотел играть какую-то роль в Академии. Совался туда, куда бы ему и не следовало, делая замечания студентам по поводу их поведения, за нехождение в церковь. Налагал штрафы на служащих за то, что они допускали студентов в столовую в непоказанные часы и т. д.

Говорили, что он был родственником кому-то из влиятельных и близких к Академии лицам и чувствовал себя тоже “влиятельным” лицом в Академии. Многие из товарищей склонны были обвинять его в лихоимстве, но я не думал так. Нашего он не брал, но за нашей спиной, как это всегда и всюду бывало, он пользовался некоторым дивидендом, имел от “купцов” подарки и т. д. Обвинение в его “пристрастности” было отдушиной, протестом против его грубостей и заносчивости. За работой кухни он не следил. Рыбка не всегда была первой свежести, компот — подмоченный. Повара были в его непосредственном ведении и также не любили его и не хотели покрывать его промахи и недоглядки. В результате 18 ноября студенты отказались от ужина — объявили голодовку. Эконом самовольно заменил рыбу и рыбное горохом с гренками и жареной картошкой. “Бунтовщики” пришли в столовую, минут 10 молча посидели за столом, а затем встали, чинно пропели молитву “Благодарим Тя, Христе Боже наш” и тихо разошлись по своим келлиям. 22 ноября в столовой была вывешена прокламация, в которой указывалось на грубость эконома, своевольное обращение с меню, утвержденным ректором, на тухлую рыбу и гнилой компот. Прокламация призывала студентов потребовать удаления эконома с его должности... Словом, началась шумиха. Инспектор А.П. Шостьин ходил по номерам и беседовал со студентами, выяснял, увещевал, вздыхал, хлопал себя руками по бедрам и о своих изысканиях докладывал ректору, который, несмотря на то, что сведения о голодовке в Академии проникли в печать (“Утро России”), ограничился лишь общим выговором, что “он не потерпит голодовок, а за репрессиями-де у него дело не станет”. Очевидно, эконом был виноват в этом инциденте, а чтобы не раздувать дело, ректор ограничился тем, что только погрозил нам пальцем, и то из своего кабинета.

Врач

АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТАНИН

С большой любовью вспоминаю нашего академического “Тянина”. Хороший и добрый был человек и очень внимательный врач. Всегда ласковый, не ускоряя темпов и не повышая голоса, он уверенно и лечил, и баловал студентов. Надоест студенту академический стол — Аркадий Владимирович переводит его на больничный, а больничный стол всегда устанавливал он сам. Вздумалось студенту отдохнуть от обыденщины общежития, Танин кладет студента в больницу. Сту-

денты не стесняясь ходили к нему со всеми своими недугами и всегда находили у него радушный прием.

ЭПИЛОГ

Есть такое латинское выражение: “Non multa, sed multum” — не много, но много. Окидывая взором пройденный путь за первый год обучения в Академии, чувствуешь, как много нового и интересного прошло перед нами. Правда, это “много” не разнообразно, но для нас это было все же новым и, как всякое новшество, увлекательным. Неразнообразно потому, что академическая жизнь имела свои традиции, а обучение не всегда удовлетворяло желания. Превалировала во всем догма, и ответы на пытливые вопросы не допускали отклонений от той же догмы. Нам рекомендовалось, как и в Семинариях, только правоверное мышление, но жизнь шла своим чередом, вне зависимости от Устава 1884 года. Люди приходили и уходили. Они приносили отличные от догмы 1884 года мысли, появлялись богоискатели, а Академия стояла в стороне от бурлящей религиозной мысли за стенами Лавры. В Академии по-прежнему господствовало богословствование Горских и Голубинских, когда-то составлявших заслуженную гордость Академии. А.И. Введенский “перетряхивал” Голубинского и Кудрявцева. В начале своей профессорской кафедры он написал свою аксиологию и ревниво охранял ее истины от критических взоров студенческого и ученого мира. Студенты записали его лекции и отпечатали. Узнав об этом, Алексей Иванович поднял шум, отобрал издание, так как лекции были изданы без его ведома. Все экземпляры лекций собрать ему не удалось, но главного пособия при изучении его аксиологии студенты были лишены, да и сам факт борьбы с записями его лекций показателен. Глаголев С.С. также держался старых традиций и не выдвинул ни одной оригинальной мысли. Он читал нам лекции по основам христианского вероучения и продолжал “сражаться” с Буддой и Конфуцием, а богоискательство наших дней его мало занимало, а не он ли должен был нас вооружить знаниями, которые мы должны были использовать при выходе из Академии? Ректор епископ Феодор, свою магистерскую диссертацию (“О вере в Бога”) забрал из академической библиотеки и никому не давал!

Профессора почему-то больше любили копаться в архаической древности, чем вооружать подрастающее поколение новыми мыслями. Это, по-видимому, было спокойнее и позволяло укрыться от навязчивого протестантизма.

30 апреля начались переводные экзамены. Два-три дня для подготовки к экзамену, затем предстояние перед экзаменационной комиссией. 20 мая прошел последний экзамен, и я, пожалуй, довольный своим аттестатом, поехал в родной Кашин на летние каникулы. Огорчала “двоица” за работу у Туницкого, но... что же делать? Я взял у Туницкого для разработки новую тему, чтобы осенью представить ее взамен им забракованной, но судьба мне сулила другое. По энному параграфу нового Устава Академии, я должен был повторно остаться на первом курсе Академии. И остался.